

ПРОЩАНИЕ С МУЗОЙ

Все на свете кончается, Муза.
Отодвинь-ка меня от пера:
Твоего мне не надо союза:
Не бросай мне ни зла, ни добра.

Я твою неземную походку
До сих пор не привыкну ценить.
Отпусти мою тонкую глотку
И вокруг нее жесткую нить.

Это — с жаром и стужей — дыханье
Не посмею желать и врагу.
Твоих тоненьких крыл колыханье
Ни поднять, ни подмять не могу.

Обрывала, тянула, носила
По земле, по заоблачной мгле
Твоя дикая страшная сила
Мою вечную мысль о тепле.

Из молитвы сковала проклятье.
Отлила из спасенья погром.
Я построил для мира распятие
Твоим вроде бы легким пером.

Откровенны, печальны, жестоки:
И анапест, и ямб, и хорей —
Это ты. Всё твои это строки.
Я, ей-богу, немного добрей.

Была счастье. Ломала удачи.
Посылала убитого в бой.
У меня же другие задачи.
Не за тем я родился с тобой.

Обезумев от вечного груза,
Неуместно и глупо шучу:
«До свиданья, Прекрасная Муза!»
Неразумные речи шепчу.

Как же так, что мы жизнь проглядели
На чужом и ненужном пиру?
Помоги мне, я встану с постели,
Подойду попрощаться к перу.

И не сделаю больше ни шагу,
Хоть убей, хоть рыдай, хоть умри.
Только ты и перо и бумагу
Да и все-таки свет убери.

Кто же сможет всю линию нашу
Бледной жизни так четко вести —
Эту гордую горькую чашу
Так высоко глубоко нести?

Сидеть бы да слушать спокойный рассказ ручейка,
Идти и смотреть, что покажет лесная тропинка.
Далёко-далёко над лесом плыли облака,
Как будто котомки ползли с Краснопольского рынка.

Легко и свободно для сердца носили тепло
Сквозь детскую радость какой-то печали мгновенья.
И как это было красиво и как высоко!
Но всё же не думалось так, что не будет забвенья.

Разумные твари. Не знать бы, зачем и когда
За тихую дымку ушли города и дороги.
Цветущих садов над землёй поднималась гряда,
А дальше ломалась, касаясь какой-то тревоги.

Забуть невозможно родимой земли красоту,
Которую вслух обступали, вздыхая, столетья.
Устало и грустно земную пройдя маету,
Сгорела вторая, пусть здравствует тысяча третья.

Года отзвенели: и вот ни врагов, ни друзей,
Ни слёз, ни улыбок не проданных. Только прохлады.
Пустой и широкий, разломанный мир, как музей,
Похоже, и этого больше живущим не надо.

Разбитая память, ты видишь: всё было не так
В разумном начале, в спешащем, в изменчивом мире?
Зачем было делать последнею мерой пятак?
Одна суета, словно муха, гудит по квартире.

Весна заступила. Да только не пахнет весной.
И люди устали. И вместе. И все одиноки.
И я ухожу понемногу, и следом за мной
С последней до первой срываются мысли и строки.

Угрюмым детишкам никак не найти ручейка;
С пропажею леса распалась лесная тропинка...
И только всё так же куда-то плывут облака,
И рвётся за ними: на цыпочки встала травинка.

Но что там рассмотришь у края земли, на лету?
Спокойно и грустно небес затихают соцветья.
Зачем же донныне родимой земли пустоту,
Вокруг обходя, стерегут молчаливо столетья?

Не надо, родные. Усните, рыдания души.
Усните спокойно, как эта природа уснула!

Как больно поэту (ненужному) слушать в тиши
Высокую музыку — вздохи вселенского гула!

20 мая 2001.

ОТ НАЧАЛА И ДО...

(стихийные тропы воспоминаний)

Жизнь шла. Шла медленно. Цепляясь нога за ногу. Шла, вертя головой, ротозейничая. Как будто ей некуда было идти, да и незачем. Трудно было определить: принадлежит она кому-либо или нет. Казалось, она беспризорная, бездомная. Ни в ней, ни на ней. Ни в руках, ни в карманах. Куда шла? зачем шла? Шла, видно, только потому, что надо идти. Не прыгать же с моста, не бросаться же под поезд. Хотя ей, видно, было всё равно: или идти, или бросаться под поезд, или прыгать с моста.

Чья же это жизнь такая беспутная, никчемная, нерадивая, неразумная? Думать-то и не надо долго. Это ведь моя жизнь. Я наблюдаю за ней со стороны, с какой-то горы, с какого-то высокого дерева, густого и ветвистого. Она не видит меня. И никого не видит. Похоже, она даже и не смотрит. И глаза не открывает. Она как бы не подозревает, что кто-то смотрит за ней. Только вертит головой, как бы озирая всё вокруг. А сама слепая.

До чего же глупая жизнь?! Попробуй такой растолковать что-нибудь. Подобрать учителя. Учитель должен быть или полный дурак, или трёхголовый, а лучше шестиголовый... Какой-нибудь змей Горыныч. Где же набраться таких горынычей? Их и в городе-то очень мало. Даже в Москве — раз два и обчёлся. А в деревне их вовсе нет.

Говорят, что где-то бывают. Говорят, что кур доят, но кто молоко пил? Должно быть, очень немногие пили куриное молоко — и то, если верить рассказам. Большинство-то и коровьего не могли вдоволь попить хоть раз. А уж про хлеб и говорить нечего. Где он, тот хлеб?

Его-то пекли, но не так много. Тесто замешивали с присказкой, похожей на молитву: «Приспори, Господи, мучицы, я подолью водицы». А слышал её Бог или нет неизвестно. Пекли из картошки с добавлением самодельной муки, сделанной с горем пополам на жерновах. Можно было отвезти и на мельницу в Холмы, или в Почепы. Но это далеко. Нужна лошадь. Лошадь выпросить у бригадира очень тяжело: нужно несколько недель просить, если просить ежедневно... А у кого хватит нервов, чтобы клянчить каждый день, зная, что это бесполезно?

К тому же на мельнице брали десятину. Да и ждать нужно было очень долго, пока смелят. Так долго, что почти забывалось, сколько мешков отвозили зерна: 6 или 4, 4 или 2, 2 или 1. Мельник говорит, что два. Да нет, вроде четыре. «Да ты что, совсем беспамятный? Было два мешка, — говорит мельник. — Куда бы я их девал? Ищи. Все мешки здесь. Пересмотри все. Твои с какими метками? С красными к нижнему уголку пришитыми? Ну вот здесь все с красными, пересмотри все».

— Может, ещё где-нибудь есть с красными метками?

— Все с красными я ставил сюда.

Мельник прав: больше нет с красными метками к нижнему уголку. Значит, было два. А кажется, что четыре. До сих пор кажется. Уже сорок лет.

Какие-то мы все неразумные. И Женька Гапин Дрисливкин тоже забыл, думал, что 6 мешков, семья-то 12 человек, всем по полмешка, так и запомнил: всем по полмешка. Никто не умер, не уехал, не родился. Двух мешков как бы не хватает. Но мельник всё помнит, он помнит, что было четыре мешка. У него даже в тетрадке записано четыре.

Но дело даже совсем не в том, помнишь ты или не помнишь, записано у мельника или нет. Всё равно не дотянуть до весны эту муку, если только оставить к Радонице чуть-чуть. Чтобы не стыдно было на кладбище нести оладушки со сметанкой. Оладушки из настоящей муки! Это так здорово! Спасибо корове: выручает. Если бы не она, хоть ложись да помирай.

Конечно, ничего не изменится — умрёшь ты или жить будешь. Не ты первый, не ты последний. В конце концов все умрут. Днём раньше, днём позже, но все умрут. Ничего не изменится, если ты жить останешься и не изменится, если ты умрёшь. Утром будет всходить солнце, а вечером заходить. Зимой будет падать снег, дуть ветер,

трещать мороз. Летом будет расти трава, будут шуметь деревья, петь птицы. Которых тут тьма тьмушая. Болотные все. Есть и другие, но болотных так много, что кажется: других нет. Небо темнеет от птиц, когда идёшь через болото.

Бабушка Марфа умерла, а ничего не именилось. Бригадир так же не даёт лошадь. Ветряк не подвинулся ближе. Стоит там же, в Почепах. А другой в Холмах стоит. Потом когда-нибудь рухнут оба. Интересно, когда они упали. Было много. С дуба около десятка насчитывал. А теперь ни одного нет. И дуба нет. Того дуба, про который сказано: «Сорок лет светит аист на дубе, Только как до него дотянуться». И некуда тянуться. И аистов нет, потому что болота распахали. И вообще никаких птиц, и даже леса нет — всё распахали. Сеют хлеб, который с густой радиацией. Молоко пить нельзя — тоже с радиацией.

Зачем же распахивали? По инерции, что ли? Распахивали, осушали уже после «Чернобыля». Неужели так тяжело было сообразить? Неужели нужно быть шестиголовым Горынычем, чтоб предвидеть радиационный хлеб и гибель болотной птицы, которая жила здесь как в единственном на земле питомнике. Заповеднике.

Нигде никогда я так много не видел птиц и, к сожалению, уже не увижу. Да и никто другой уже не увидит.

Улетают последние птицы.
Еле-еле мерцает крыло.
Улетают, как света частицы,
И уносят, уносят тепло.

Над лесами летят, над войною.
Тишины и бессилья полны.
Возвратятся, должно быть весной,
Если хватит тепла до весны.

Как собратья летят, как проклятья,
На закате, на алом ноже.
Если где-то им солнца не хватит,
То сюда не вернуться уже.

Как печально они улетают,
Среди холода звёзд гогоча!
Обо мне, видно, так же считают,
Что горяч я и прям, как свеча.

Уносите свои небылицы,
Путь-дорога у всех тяжела.

Вот уходят последние птицы,
На земле не оставив тепла.

1985

2

А жизнь идёт. Спотыкается, падает, но идёт. Иногда пытается бежать, подпрыгивать, петь песни. Но всё это так — клоунада. Настоящее — это слёзы, падения, мрак. И только кое-где проблески. Господи, как мало этих проблесков! Конечно, я не мечтаю о том, чтобы она вся состояла из проблесков. Такое, видимо, тоже не очень приятно. Но хотя бы лет в пять или в десять один хороший большой проблеск. Чтобы светло было идти 5—10 следующих лет. А там опять проблеск. Как удар молнии. Аж глаза слепит. Страшно, но приятно.

Почему альпинисты лезут в горы? В конце концов почти все гибнут. А лезут. Проблески зовут.

Вся жизнь из проблесков — это как в зной идти по пустыне. Вся жизнь под палящим солнцем. Вы хотите? Я не очень. Если только попробовать. Не жалко будет в конце?

Ведь заново жизнь пройти не дадут. Локти кусать остаётся. Они все и так искусаны. Даже съедены. Без локтей идём. Кисти — и сразу плечи. Локтями бы дорогу расчищать, но локтей нет. Они съедены самими. Потому и слёзы, разумеется, сухие, сердечные, и падения, и мрак, что без локтей.

Которые с локтями, ух как идут! Они никогда не оглядываются. Они никому не подадут руку. Они саданукт под бок локтём, или под дых. И коленкой поддадут под зад, чтоб подальше отлетали. Вот и падай, и корчись, обливайся слезами, даже обычными — мокрыми. Им от этого противоречия жить веселее. В сравнении. Ты плачешь — они смеются. Хохочут. Заливаются.

За бабушкой Марфой и дядька Авдей умер. Лысый здоровяк. Можно сказать, бык лысый. Слон двуногий.

Да и Бажиhi нет. Отбajилась, отругалась, отбогохульничала. Похоже, что с сыном жила как с мужем. Но кто об этом скажет? Ни он, ни она, ни другие семьянины. И даже Авдей молчал. Такой позор кому скажешь. Даже если плакать хочется. Поплачет, заплачет, но промолчит, о чём плачет. Да и слёзы-то только случайно можно было

увидеть. Самые близкие родственники, самые частые заходили могли увидеть, и то не зная причины.

На кладбище положили рядом Авдея и Бажиху. Бажок (Федька) спрашивал: «Ты помнишь Бажиху? Вот здесь лежит Бажиха, вот здесь отец лежит». Почему-то матерью не назвал. Помню конечно. Как можно забыть Бажиху? Таких скандальных в нашей деревне не было. В Старой Буде может все такие? Я никогда не был на её родине, на родине старобудской родственницы Бажихи.

Много где не был. Почти нигде. А как хочется! Проезжаю какие-либо леса, селения, реки, болота... И так хочется в любом новом месте выйти и остаться навсегда. Только потому, что здесь так хорошо, так красиво, так необычно. И солнце кажется другим, и воздух, и небо, и земля. Даже тяжело на душе, что невозможно сразу во многих местах остаться. Хотя бы где-то побывать. Но так привязан за кусок хлеба, за крышу над головой, за детей, за ещё что-то, а главное за нищету, что никак не оторваться, не отрезаться.

Удивительно, но я совершенно не помню: была она красивая или нет. Как женщина она не воспринимается. Просто Бажиха. Царство небесное тебе, Бажиха — тётка по материному брату Авдею. Не оттого ли Бажок пьёт, что отца заставлял плакать? Наверное нет. Просто пьёт, как другие пьют. Хотя неизвестно, почему пьют другие.

Куда ты, жизнь? Оглянись. Ведь я здесь. Всегда у меня нелады. Со всем. Даже с собственной жинью. Я хочу так, а она непременно поступит по другому. А ещё говорят: всё в наших руках. Ничего нет в наших руках. Всё проходит как песок сквозь пальцы, если ты не антихрист, а человек — то во всём нелады. Наверно, это закон такой человеческого бытия.

* * *

Как правило, не в хорошую тёплую светлую пору, а в глухую печальную тёмную ночь является светлый облик Хадоры.

Сколько на своём горбу она вынесла всевозможных обид и тяжестей, оскорблений и унижений и духовных, и физических! Господи, откуда же у неё столько сил?

Жизнь — это мука. Смерть — освобождение от мук. Но нельзя просить смерти. Самоубийство — это самый страшный грех. Детишек пятеро. Как же просить смерти себе, если за тобой пятеро. Павлик побольше. Уже сам может прожить как-нибудь. А остальные четверо —

мал мала меньше. Следом умрут. Не имеешь права, Хадора, на себя брать их трату. Грех будет великий.

Муж погиб под Пропойском, около реки Сож. Похорнка пришла на окровавленном клочке газеты. Рядом ведь. Поехали с Прасковьей, чтобы привезти искалеченного... или закопать остатки. Но ничего не нашли. Бойцы сказали:

«Снаряд угодил. Искать нечего. Сильно бомбила авиация. Давили танки».

Немцев нужно было выбить с пригорка. Нужно было «Взять высоту». Слишком равнодушно говорится «взять». Как будто на столе лежат спички или патроны, и их нужно взять. Просто протянуть руку и взять.

Нужно лечь костями, детей оставить сиротами, но немца выгнать — вот что такое «Взять высоту».

Первым — знаю — отец
Зачерпнул пустоты.
Он под танком затих —
И не взял высоты.

Истинные герои не те, которые сейчас хлещут водку, как камнями, бросаясь словами: «Это я взял высоту!», кулаком проламывая собственную грудь, на которой висят награды в честь сорокалетия победы, и даже не те, которые лежат под пирамидками с пятиконечными звёздами или под крестами с красивыми или уродливыми надписями: обозначениями имён и дат рождений и смертей.

Герои те, которые пали молча. Без имён, без слёз, без сожалений, как осенние листья, которые упали, чтобы весной зашумели деревья молодой листвой. Чтобы даже не вспоминали их. Чтобы шумели и шумели леса. Новые, молодые, весёлые, высокие, красивые, стройные, миролюбивые, разумные, пересыпанные птичьими песнями.

Я никому не хочу смерти. Но если она случается, а она случается всегда, человек должен хотя бы в смерти быть благородным, порядочным, величественным, откровенным. Он должен идти прямо, не кривить душой, не гнуть колени. Не искать норку, чтоб залезть туда, какмышь. И конечно же, не прятаться за чьей-то спиной.

К сожалению, из тысяч идущих на смерть трудно найти одного человека, который бы оправдывал своим поведением это звание. Хотя, может быть, это уже не человеческие черты у тех редкостных

единиц. Тогда чьи? Кто же нами правит, тысячами? Бесы, что ли? И только единицами Боги? Где же ты, Господи?! Укажи нам путь благо-родства и порядочности, честности и совестливости... Избавь нас от мышиного пути.

Я знаю: никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны.
В том, что они, кто старше, кто моложе
Остались там. И не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь.
Речь не о том, но всё же, всё же, всё же...

А. Твардовский

3

Деревенька наша в одну улочку с юга на север. Или наоборот. Всего сорок дворов.

У каждого было прозвище или кличка, какая-то дразнилка что ли. Как правило, по нескольку. У некоторых сноп целый. У Домны не было. Но само имя Домна было хуже дразнилки. Могли сказать на любую женщину, на любого мужчину «Домна ты» или «Ты как Домна» — это означало, что ты ленивый глуповатый неповоротливый и бестолковый человек. Это была очень обидная дразнилка. К счастью для неё, Домна не понимала обидчивости таких высказываний. Она была спокойна и как бы уверена в своей непробиваемости, бестолковости. Она или не понимала многого, или была умнее всех. Главная её черта — опаздывание. Она всегда приходила последней.

Всегда не к месту что-нибудь глуповатое мог брякнуть Василь Басон, Мяс, Сучка; отец Камбал; брат Шура — Цыганок. Но и Шуру можно было называть и Басон, и Камбал. Все клички родственников переходили на всех, за редкими исключениями. Например, Мяс и Сучка называли только Василя.

Наша родовая кличка была «Пэйсики». В переводе на общерусский пэйсики — это бакенбарды. Видно, какой-то дальний родственник носил бакенбарды, которые и остались родовой кличкой всех грядущих поколений. Но у каждого отдельного человека была своя отдельная кличка.

Аксинья Сруль, дочка Емельяна Жихжаха, рассказывает моей матери, как её отца врачи успокаивали (у него были какие-то страшные припадки: он ходил по дворам с бумажкой, на которой заставлял каждого расписаться, что он, Емельян, будет вместо Сталина), а Басон в это время говорит: «А наша корова кровью сцят». «Как чёрт в лужу пукнет, — говорит Аксинья. — Так ляпнет». Он всегда такой. И уйдёт, как бы сделав важное дело, разодрав рот до ушей не то в улыбке, не то в какой-то недовольной гримасе. Короче, Басон, Мяс, Сучка, Камбал.

Кстати, ни одной фамилии в этой главе нет, есть только клички. Думаю, что и впереди фамилий не будет: я многие позабывал. Все были равны. Потому буду причёсывать всех одной гребёнкой.

Это я пишу через 55 лет после рождения и через 37 лет после отъезда навсегда.

Жизнь была такая красочная, что многое помнится до сих пор, как вчерашнее событие.

Помнятся люди, добрые, порядочные, мудрые, покладистые, работающие, честные, корректные от рождения, за исключением немногих. Никто не знал, что такое соврать. За исключением Бажихи. (Да и у неё было имя другое). Откровенные доверчивые люди. Таких уже нет нигде. Возможно, что и там нет. Но были. И были птицы. Очень много было майских жуков, лягушек, и птиц. Это было какое-то постоянное вечное приятное нашествие. Но оказалось, что ничто не вечно под луной. Сегодня там уже нет ни птиц, ни лягушек, ни майских жуков. И людей осталось очень мало. Вымирает деревенька. Рядом стоящие уже вымерли. И признаков нет... Працownik, Радилев, Холопы, Чернин, Малый Осов, Конезёвка...

Никто не может поверить, никто не может представить как неизбежно могут петь лягушки. Это хор самой природы. Постоянный несмолкающий хор в начале весенней тихой тёплой ночи. Казалось: всё вокруг бурлит, кипит, булькает — и земля, и небо, и части света... «лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю» — бесконечно. Ни мгновения тишины.

А чибиcы! Как они веселятся ранней весной, когда дотаивает снег, опять же в начале тихой тёплой ночи с туманом: «Фи-и-ить, фи-и-ить, фи-и-ить!» И как они плачут летом! Когда вывелись дети. С завыванием: «Ки-и-и-й-и -и». В некоторых местах этот плач переводят как вечный вопрос: «Чьи ии вы?»

Почему они плачут летом? Может быть потому, что скоро осень, скоро покидать этот серый убогий, но родной край. И бог весть придётся ли возвратиться. В конце концов, они плакали не зря. Может

быть, они предчувствовали осушение болот, предчувствовали, что лишат их их извечной родины?

Как больно уходит то, чему нет возврата. Даже воспоминания об этом тяжелы, хоть плач. Слёзы сами наворачиваются.

Всякие чиновники, всякие новые русские, считающие себя непрезвзойдённо умными, скажут: глупо оплакивать лягушек да птиц. Может, и глупо, но невозможно удержаться. Пусть смеются: на то они и новые русские, и бездарные вороватые чиновники.

Здесь поблизости нет ни озёр, ни болот, ни реки,
Но почти каждый день всё звенят и звенят кулики.

Этот странный недуг не осилить — лечи не лечи.
Они так же кричат. Да всё больше тревожат в ночи.

Всё звенят и звенят, всё плывут против всяких наук.
Как щемяще висит этот крик, этот стон, этот звук!

Этот тоненький плач, что рождён в осоке, в камыше,
Как печально горит самой светлою болью в душе!

Мне понятно давно, что не только на дикой воде,
Но теперь уж «пустых» этих звуков не будет нигде.

До чего же силён этот стон, этот звон, этот зык:
Хочешь слово сказать — шевельнуться не может язык.

Если, силы собрав, кое-как шевельнёшь языком,
То слова не идут, только к горлу подкатится ком.

Длинноногий кулик, но какой с тебя нынче певец?
Ты бы где-нибудь там, ты бы пел для коров и овец.

О, болотный звонарь! Дорогой золотой мой палач!
Быстро слёзы утри, успокойся и больше не плачь.

Для тебя говорю, что твердила покойница мать:
«Как душа ни боли — по ночам нужно всё-таки спать».

Будто я виноват, хоть и нет — виноват всё равно,
Что мне нечем дышать, когда в доме закрыто окно.

А откроешь окно — из простора насыплется мук.
О, как сердце дерёт этот звон, этот вымерший звук!

1991

4

— Ты куда, Василёк?
— В школу.
— Где же книги твои?
— Тетрадка за пазухой
— Значит в школу. А хочется тебе туда ходить?
— Ты что смеёшься? Сгорела б она!
— Новую построят
— Поумирали бы учителя...
— Других пришлют.
— Может до следующей осени не построят, не пришлют, — мечтательно произнёс мальчик, широкоплечий рахитик с большеватым животом, в самоклеенных из машинной камеры галошах, в портянках аккуратно намотанных на штаны и обвязанных верёвками (обувка по типу лаптей) .

Даже эти мечты, глупые и жестокие, не сбывались. С детства приходилось привыкать к несбыточности. Изо дня в день нужно было ходить в школу, ждать окончания уроков, как спасения, как помилования. От скуки приходилось трепать нервы учительницам. Издеваться над ними. Казалось, они были каменными, как печные трубы. Но в конце концов и печные трубы выдыхались. Садись на стул, бросали голову на стол и, закрыв её руками, сотрясались от беззвучных рыданий.

О чём они думали? О чём они мечтали? Мечты их, похоже, были такими же: «Что б школа сгорела, что б поздыхали все ученики». Но и их мечты не сбывались. Все они когда-то были учениками. И так же, как и мы, привыкли к несбыточности. Школа стояла уже лет сто, и ничего с ней не случилось. Это был дом какого-то пана.

Приходили и уходили учителя. А мечты оставались. Переходили из поколения в поколения: «Сгорела б она, эта школа!»

Ученики шли стриженные «овечьими» ножницами, потому с ребристыми головами.

Нехотя-нехотя двигались, как гонимые кнутом, в сторону Ново-Ельни, где стояла школа-десятилетка. Некоторые, в самом деле гонимые кнутом, бежали вприпрыжку: родители по ногам секли.

Дорога в школу шла через соснячок, мимо кладища, поросшего редкими огромными берёзами и соснами. Как было не остаться здесь, на природе, вольному человеку, который так неохотно носил ненавистное звание ученика.

— Запартизаним? — обращается ко мне Витя Кет.

Но, прочитав, вместо энтузиазма, равнодушие на моём лице, продолжает: «Так не хочется сегодня топтать эту дорогу до Ново-Ельни».

Мы с ним шли последними. Все уже далеко впереди. Совсем некому составить ему компанию

— Но давай, — отвечаю я.

И мы сворачиваем в лес. Будем весь день греться костерком.

Учителя били учеников. Правда, били своеобразно. Чтобы не думали, что их бьют. Но чтобы было по-настоящему больно. Методы были разные. Это зависело как от учителя, так и от ученика, и даже от его проделок. Чаще всего — по щекам. Не кулаком, не ладошкой, а двумя пальцами, торчащими, как указки. Правда, за особые заслуги могли врезать и полной ладошкой. Для получателя почти не было разницы. Ладошка просто характеризовала учителя как психа, не умеющего сдерживать себя, как безмозглого грубияна, только и всего.

Второе по частоте употребления наказание — это откручивание ушей. Берут всё ухо в кулак и крутят, как будто откручивают приржавевшую гайку, когда, например, повернёшься к ученику, сзади сидящему. За выдающиеся заслуги приподнимают за оба уха и потряхивают, чтобы ноги болтались. По-моему это был лично директорский приём — за удаление из класса, за бегание по партам или за курение в классе во время урока, за выстрел резинкой в лицо учительнице.

Стоит заметить, что рационализаторов и изобретателей было очень мало. Почти не было. Методами одними и теми же пользовались десятилетиями, что характеризовало учителей, как посредственных личностей. Моему поколению учеников «повезло»: у нас появился изобретатель, преподаватель немецкого языка. Говорили, что он был истинным немцем. Он крепко брал прядь волос на виске или сзади на шее мальчика или девочки и с каждым вопросом дёргал её резко вверх.

— Как перевести слово «шляфен»? — на слове шляфен делается ударение с растяжкой — и дёрганье.

— А как перевести слово «яблоко»? — на яблоке ударение с растяжкой и дёрганье.

— А какой «артикль»? — ударение и дёрганье.

При каждом дёрганье часть пряди оказывается в его пальцах. Он аккуратно, медленно, брезгливо стряхивает её на пол и берётся за другую.

— Что такое «сильное склонение»? — на слове сильное удар ладошкой по затылку.

— В 3-м лице единственного числа какая будет форма глагола «заен»? — на слове «заен» новая прядь беззащитных волос оказывается в его мясистых пальцах. Брезгливо бросается на пол.

Кто кого. Из года в год. Из десятилетия в десятилетие. Вечная война учителей и учеников выигрывалась, как правило, учениками. Может быть, потому, что у нас были неисчислимые резервы и что у учителя уходили самые глупые ученики, которые, сидя за партами, никакой роли не играли в этой войне. Как бы даже в ней не участвовали. Были рабами этой войны, её мелкими пёрышками. Летели, летели, летели. Возможно, не замечали, что она идёт. Потом только, когда входили в класс как носители знаний и мудрости, величественные и гордые, вступали в неё. И гибли, как самые рядовые солдаты, как иностранные наёмники, не подозревая даже, что когда-то дело можно было покончить миром.

Но не из-за войны мы не хотели ходить в школу. Из-за неё-то мы только и ходили. Да ещё потому, что матери гнали нас учиться. Они надеялись, что хоть мы будем учёными. Потом смирились. Человек, в конце концов, смиряется со всякой судьбой. Когда оказывалось, что учёности у нас не намного больше, чем у них, смирились с мыслью, что всё потеряно навсегда.

5

Года в четыре, в пять, во всяком случае, задолго до школы, все знали всё про взрослых. И, как правило, до школы, то есть к семи годам, уже всё пробовали: и пить, и курить, и уединяться с девочками примерно такого же возраста. Уединяться по полной программе. Но большинство не становилось пьяницами. Наоборот, которые сильно опекались, как правило, становились ими.

Так что трудно угадать судьбу человека. Отличники частенько засыпались при поступлении в институт. У жизни в общем-то непредсказуемые пути. Одни с вершин опускались на дно, другие со дна поднимались к вершинам. На данной тропе предсказатели и пророки очень часто ошибались. Мальчишки, вышедшие из болотных и лесных дебрей, ломали все законы развития человеческого общества. Ковали судьбы весьма непредсказуемыми. Ставили эти законы с ног на голову. Потому что им никакого дела не было до этих законов, как и до всех других.

Газет в деревне не было, радио тоже. Дорог поблизости никаких. Кто видел поезд, считался человеком бывалым, уважаемым.

Если ехал трактор через нашу деревню, например, с плугами, мы, как воробы, облепляли собою эти плуги — чтобы проехать, сеялки — вообще роскошь, даже на боронах умудрялись кататься.

Был, правда, со мной один казус. Один из многих. Катался я в поле на сеялке. Сеялка — это почти царский трон. Долго катался, но домой-то надо идти. Спрыгнув с сеяки, я стою и с грустью смотрю как уходит трактор — вдруг сзади удар по ногам, я, высоко подпрыгнув, вспомнил, что сзади идут бороны, тянет тот же трактор; опустился на бороны после прыжка, опять подпрыгнул, опять пришлось опуститься на бороны, точнее на землю, по которой идут бороны. Ободрал всю кожу на ногах, но выскочил.

В деревеньке жили по своим законам, которые переходили из поколения в поколения ещё со времён Киевской Руси. И видимо по этой причине люди всегда считали себя русскими. Да и разговор оставался больше русский, чем новый — белорусский.

Когда пошли в школу, заметили, что книжные языки, как русский, так и белорусский непонятны, почти как немецкий.

В каждой деревне было много слов собственных, какие в соседних деревнях не произносились, а порой и не понимались.

6

Хадора ходила в школу половину зимы.

— Пусть Авдюшка учится. Попом будет... или писарем, — сказал отец Моисей. — Тебе незачем ходить в школу. Тебе нужно прясть.

И больше не пустил в школу Хадорку. Долго обливалась слезами, упрашивала — не помогло. Может быть поэтому она не очень высоко ценила своего отца, как недалёковидного и безграмотного. Любила деда Терешку, который в праздничные вечера читал детишкам книги.

Вырыта заступом яма глубокая,
Жизнь невесёлая, жизнь одинокая,
Жизнь бесприютная, жизнь терпеливая,
Жизнь, как осенняя ночь, молчаливая, —
Горько она, моя бедная, шла
И, как степной огонёк, замерла.

Что же? Усни, моя доля суровая!
Крепко закроется крышка сосновая,
Плотно сырою землёю придавится,
Только одним человеком убавится...

Убыль его никому не больна,
Память о нём никому не нужна!..

Вот она — слышится песнь беззаботная,
Гостя погоста, певунья залётная,
В воздухе синем на воле купается;
Звонкая песнь серебром рассыпается...
Тише!.. О жизни окончен вопрос.
Больше не нужно ни песен, ни слёз!

Н. Некрасов

Это были настоящие праздники. Запомнились эти вечера до глубокой старости. До гробовой доски. Потому что оказались единственными проблесками за всю жизнь, за 74 года. Они согревали, как пламя давно погасшей свечи, но всё ещё как бы тёплое. Хотя бы условно. Ведь другого тепла нет, а требуется. Поэтому рада условности. Запомнились не только вечера, но и многие строки на душу упавших стихов, и даже стихи полностью.

Что ты спишь, мужичок?
Ведь весна на дворе,
Ведь соседи твои
Работают давно.

И. Никитин.

Она не понимала, как можно было не запомнить такие стихи?

Авдюшка книг не любил, школу ненавидел. Семь зим ходил в первый класс, так его и не закончив. Когда наседали родители, заставляя что-нибудь читать, он прятался за столом под лавку и там просиживал до ночи. Делая вид, что читает, повторял три слова: «Кадка, лубка, вадго (ведро)». Ни попа, ни писаря из него не получилось. Получилась хорошая лошадь для Бажихи.

Хадорке подвесили куделю, дали веретено. Крутится веретено, как будто свеча горит. Сколько она передумала, переплакала, перепела песен со слезами за этим веретеном, почти за семьдесят лет, одному Богу известно. И льняную суровую, и льняную тонкую, и шерстяную чёрную, и шерстяную белую. Сколько этих кудель перекрутила в нитки! Сколько ниток переработала в полотно! Мешки и матрасы,

одеяла и скатерти, простыни и сорочки, сюртуки и анучи, носки и рукавички, рушники и подштаники.

Крутится веретено, как будто свеча горит, и Хадора держит её за вершинку пламени.

В 16 лет выдали замуж. Сразу все насели: и свекровь, и деверья, и золовки — а главное — Прасковья. «Такая змея... которой мир не видал». Жили-то одной большой семьёй. Все были своими, кроме Хадоры. Им всего для неё было жалко. «Есть так хочется... отрежешь украдкой кусочек хлеба и съешь, но не пойдёт на пользу: свекровь угадает, что отрезала... Слезами обольёшься. Выплачешь больше».

Пархвен построил хату, хотел отделиться, но отец отдал её Прасковье. Пришлось ещё несколько лет, где каждый день годом кажется, терпеть Прасковьины смертельно-змеиные укусы. Невестка не имела права ни есть, ни спать, ни сказать что-нибудь — только одно было право — работать как вол. «Свекровь даже детей не приглядывала: и нарвутся, и говна наедятся.» Прибежит с работы домой — сердце кровью обливается: и руки в говне, и ротики. И слова сказать нельзя. Уснёт со слезами, пока кормит грудью. И плакать нельзя. Не дай бог, если увидит Прасковья: душу вытащит щипцами.

Крутится веретено, как будто свеча горит, и Хадора держит её за вершинку пламени и сама горит, горит, горит. Да так и сгорела вся. В непомерной работе. Недосыпая и недоедая. В несбыточных мечтах, в сожалениях:

Эх каб тёмен не був,
Читать книжки умев,
Я б и долю здабыв,
Я б и песенки пев,

Я б падтрапив сказать,
Што и я чалавек,
Што и мне гарявать
Надаела весь век.

Кажется, Якуб Колас.

Это стихотворение глубже других запало в душу, больше других вызывало слёз.

Как она гнала в школу своих детей! Уговорами, мольбами, угрозами, слезами. Говорила своему старшему сыну, потом среднему, потом младшему: «Дядькой Авдеем будешь, выдерет какая-нибудь Бажиха лысину». Перед глазами был горький пример неуча. Но как об стену горох. «Все закончили академию» — всех повыгоняли из школы, кого из пятого, кого из седьмого... Никто до десяти не дошёл. Только самый младший потом, в 28 лет, после исключения из седьмого в шестнадцать, закончил вечернюю среднюю школу. Так и пошёл по жизни с опозданием, более чем в десять лет, ещё и ещё опаздывая — отставая от самого себя. Уже и не по своей воле отставая. И всё-таки, странно конечно, но в конце концов, стал российским поэтом. Читая которого, трудно удержаться от слёз.

7

«Не дай Господь, как страшно умирала Прасковья! Закрыли её в хате и не выпускали. Никто к ней не подходил, даже сын не приехал. Может быть потому так тяжело умирала, что матушку твою съедала, — сказала тётка Наташа. — Страшно вспомнить. Не приведи господь, как она над ней издевалась.» И больше ничего не сказала.

Потом я понял из дальних слухов, что тётка Прасковья доживала свои последние дни сумасшедшей, бешеной. И вела себя так, что всем стыдно было к ней подходить. Притом продолжительное время жила.

Слишком шустрая была в молодости, слишком пронырливая: с молоду же осталась на всю жизнь хромой.

«Руб — двадцать, руб — двадцать», — так переводили её походку. Слишком ядовита была в молодости, слишком горькая судьба настигла её в старости.

Мимо Господа Бога никто не пройдёт. Неужели Он всё-таки есть? Сотни раз я убеждался в том, что Он есть, а полной уверенности опять нет. Опять и опять сомнения. Что ж такая твёрдолобость во мне? Видимо сказывается глупый русский характер: ни во что не верить, пока не подержишь в руках.

До чего же она была жестока и бессердечна, что получила два таких страшных наказания: один в молодости, другой в старости. В среднем возрасте она была вполне средним человеком. Так же через силу работала, как другие. Хром, хром — в поле, на жнитво; хром, хром — в луг с косой. В лес по дрова. Хром, хром — с ношей на спине.

Родила себе сына без замужества. Даже дала ему фамилию ночного визитёра-отца, у которого была законная жена и законные дети. Смех

да и только, но никто не смеялся. Да. Все знали, что он похаживает к ней, что сын его, что на неё другой бы не позарился. Так что как бы всё было законным. Даже Лёкса, законная жена его не подавала никакого вида.

Жизнь не полна без Моцарта так же, как и без Сальери. Раз была Прасковья, нужна была и Хадора. Нужно же было кого-то истязать. Если есть ружьё, оно должно куда-то стрелять. Вот тут как раз и появилась Хадора: старший брат привёл жену шестнадцатилетнюю, высокую, стройную, красивую.

Глянет Прасковья в зеркальце, а оно отвечает, что Хадора милее.

Ох как не любят на Руси ВСЕХ КТО... выше, умнее, милее и даже добрее. Со света сживут. И кто придумал это зеркальце? В нём вся заковыка.

Мы-то вроде не очень тёмные. Мы научились читать книжки. (Как учились — другой разговор). А толку с того. Всё равно не подтрапишь сказать, не сможешь вовремя, к месту сказать, что и ты человек, что тебе горевать надоело весь век. Этого оказалось мало. Даже писать научились ИХ — и этого мало. Зеркальце не для русских людей...

Как приятно вытереть ноги об красавицу, если ты урод, об гения — если ты серость.

Это ни с чем не сравнимое удовольствие для высокого чиновника. Ты умница — а я полудурок, но я хожу по тебе вдоль и поперёк. Хочу — зубы выбью, хочу — рёбра поломаю, хочу — глаза выколю...

Нет, серость. Ты всё можешь. Можешь бросить в дурдом, в тюрьму, лишить родины, закупорить навечно в бетонном саркофаге запретов... Но слепым сделать ты не в состоянии. Тебе просто не под силу. Руки короткие. Ты не знаешь, чем гений видит.

Рак почему неизлечим? Потому что не знают его силу, а значит и его слабость. Да! Гений не истребим, как рак! Все бессильны перед гением. И только поэтому он выживает. Он жив вашим бессилием, беспомощностью. Он выше вашей жестокости. Он так высоко над вами, что не видит вас. И все ваши потуги не принесут вам победы. Он останется, как дерево, вы осыплетесь, как листва. Единственное, что у вас остаётся, это лить на него грязь, пока он живой. На сей раз вы даже грязь боитесь лить — ибо знаете, что даже эта грязь будет говорить о признании того, кого категорически запрещено признавать на всех уровнях. Потому такими тяжёлыми бывают даже стихи о родине, о любимой родине, которую никогда не сможешь ни продать, ни предать, но которая не ценит тебя ни во грош.

СТИХИ О РОДИНЕ

Где бы участь меня ни мотала,
Мне при жизни тебя не хватало,
Как простого глотка кислорода,
Когда падает время устало
На вершину огня и металла,
Просит пить, задыхаясь, природа.

Шелушатся беззвучные губы.
В неудачном таком потрясенье
Где добудешь надежд на спасенье?
Догорают последние срубы.
Мы безглазы, мы глухи и грубы —
Нам не видеть своё воскресенье.

В самодельной барашковой шубе
Я в бревёнчатой хате, как в клубе,
Топочу, не успевши коснуться
Дней грядущих, что все захлебнутся.
Я всё там и не в силах проснуться.
Сорок лет светит аист на дубе,
Только как до него дотянуться.

Это — я, фаршированный силой,
Над мечтой — над своею могилой
Крылья белые расправляю,
Пью рассвет, наподобие сока,
Над друзьями высоко-высоко
Небесами себя забавляю.

Паутинки то Волги, то Дона.
Подо мною дорога бездонна.
О родная земля молодая,
Я к тебе, хохоча и рыдая,
Я к тебе, как листва, опадая,
Не постигнув паренья закона,
Возвращаюсь, лечу, рассыпаюсь.

Как по камню, бью крылья по маю —
Свои белые крылья ломаю.

В мои звонкие жилы разлиться
Запоздали хвалебные речи.
Не дожидаться нам, Родина, встречи:
Я лечу, я не смог приземлиться.

Как недолго в полёте светало!
Как дождями, размытый борьбою,
Я всю жизнь высоко над тобою
И не знаю, какого я рода.
О земля — о тюрьма и свобода,
Мне при жизни тебя не хватало,
Как на смертном одре — кислорода.

15, 18 февраля 1985.

В тридцати километрах от Нью-Йорка зарыли Рахманинова, но музыку его не смогли зарыть. Близок локоть, да не укусишь. Она гремит и гремит над Россией. А зарывателей нет. Хотя они ещё, может быть, живы. Он зарыт бессмертием над Россией, над Америкой, над всем миром.

Но до смерти так далеко. Пархвен ушёл на войну. Потом на другую войну. А с третьей не вернулся. Хадора не верила, что он погиб — до самой смерти ждала.

— Пархвенька, родненький, — провожала.

О чём она думала-передумала? И о нём, и о себе, и о детишках, которые могут остаться сиротами. Да так и остались. Правда, не круглыми. Мать-то живая, выдюжила, вытянула свою лямку до конца. Всех поставила на ноги. А что дураками порождались (умные все, но дураки), не её вина. Всем старалась дать образование. Никого не заставляла работать. Всё сама, сама, сама. Часа два-три в сутки спала. Остальное всё работала. Бывало, задрёмывала за веретеном на несколько мгновений — и опять с новыми силами.

Сегодня мне приснился самолёт. Почему? Маленький такой самолётик.

Он должен улетать в Белоруссию. Но нет места для взлёта. Разбегаются, чтобы взлететь. Я не свожу с него глаз. Впереди оказывается дом, каменный, высокий. Куда ты?!

Ему нужно резко свернуть вправо — там простор. Пока я смотрю вправо, ищу место для взлёта — самолёт уже в воздухе. Идёт резко вверх — и влево, чтобы обойти дом.

Успел отвернуть влево и вверх. Только правым крылом чуть-чуть зацепился за угол дома. Всё нормально. Никаких признаков столкновения, самолёт летит дальше. Лишь отвалился маленький кусочек крыла, самый кончик, менее листа бумаги для пишущей машинки — и всё, нигде никаких перекосов. Летит как ни в чём не бывало.

Правое крыло нигде не изогнуто, только чуть-чуть кончик обломан, со шербинкой в центре облома. Но тут же цепляется левым крылом за высокую ель — итог точно такой же. Тоже такая же шербинка на отломе. Опять летит, но впереди деревья, деревья, деревья. Он мечется. Туда-сюда виражи.

— Как ему выбраться из этого колодца? — кусаю я губы.

Вот он уходит от меня, ползёт по макушкам елей вверх, изгибая макушки, отчего постоянно как бы лезет на крутую гору. Вот он соскользывает с вершины назад, как с горы, упал и загорелся. Высокое-высокое чистое пламя, без дыма. Недолгое горение резко прекратилось. Сидят два пилота в кабине, рядом, лицом ко мне, немного обгоревшие. (Хотя падал он в мою сторону хвостом). Один встал, который слева от меня, сказал что-то и умер. Встал другой, что-то сказал — и лицо его очистилось от обгорания. Живое молодое розовое лицо. Его провожают его родственники. Похоже, он должен лететь на фронт.

Что за сон? Что за самолёт? Может быть, умер Долинский? Он был лётчиком в войну. Или со мной что-то случилось? С моей судьбой, но я ещё не знаю что. Станет известно днём?

Переходя улицу, Долинский попал под машину.

Но этим ли только закончится сон?

9

А жизнь идёт. Прихрамывая. Переваливаясь с ноги на ногу, оставившаяся. Тяжело дыша. Рукой держась за сердце, как бы поддерживая его. Но сердца не поддерживать, если не поддерживают человека. А человека не поддерживают, наоборот, втоптывают в грязь. Унижают самым бесцеремонным методом.

— Эй, ты! Долбаный сторож! Иди-ка сюда! Посмотри, что тут натворили, — говорит образованная дама с уничтожающей интонацией, сжигая взглядом. — Посмотри: вот картошку выкопали, а ботву опять всунули. Всунули б тебе в сраку. Кто это такой умный? Чтоб ты подавился этой картошкой, пёс поганый. Смотри, шесть кустов выдернули.

— Тут трубы прокладывали водопроводчики, может на обед взяли, — оправдываюсь я мыслью, похожей на действительность.

— А куда ж ты смотришь? Зачем же я деньги тебе плачу?! — всё больше свирепеет она. Глазами вбивает меня в землю по самые уши (Она действительно платит мне полторы копейки в день).

Я из земли подаю робкий голос: «Как же я могу за ними уследить? Они тут весь день работают. А у меня огромный объект. Поставьте себя на моё место...»

— Заткнись! У нас каждый на своём месте! — жёстко, резко обрывает меня человек с высшим образованием, заведующий отделом в управлении, коммунист.

Но это цветочки. О ягодках, возможно, поговорим в другой раз.

Я умышленно не называю её имени — будет много чести, если её имя останется. Наступит время, что именам добрых людей окажется места мало. Зачем засорять землю именами фигурок из глины с мотором в груди, вместо человеческого сердца?

И мы отдали этим людям свои судьбы, надеясь, что они будут командовать нами справедливо, по-человечески. Из глины человека не выжмешь — мы об этом не знали. Мы даже не могли подумать, что люди могут быть такими черепками, вот эти, как нам казалось, живые люди.

Хадоре отдали серую шинель и обмотки. Вот всё, что она привезла из Пропойска, вместо мужа, которого, увы, действительно искать бесполезно. Похоже, что в самом деле снарядом разнесло на мелкие кусочки... или вдавило гусеницей танка в грязь, смешало с землёй. Во всяком случае валяющимся, не похороненным его не было. С Прасковьей всех обошли.

Первым — знаю — отец
Зачерпнул пустоты.
Он под танком затих
И не взял высоты.

Хадора никак не могла смириться, поверить в действительность, что осталась одна растить пятерых детей. Господи! Как же их не загубить?! Маленькому-то только два годика. Война на дворе. Ниоткуда никакой помощи. Может быть Пархвен ещё вернётся. Как же я одна с ними? Что же мне делать? Господи! Помогите мне вытянуть этих малышей хоть до половины человеческого роста. Упасть бы на кровать да нарветься! Господи! Детки-то голодные все. Нужно чего-

то накидать в эти усталые молчаливые ротики. Теперь уже и плакать некогда. Слезы сверхурочно, в нагрузку. Несчастные вы мои малютки, на горе родились.

В полном разгаре страда деревенская...
Доля ты — русская долюшка женская!
Вряд ли труднее сыскать.

Не мудрено, что ты вянешь до времени
Всевыносящего русского племени
Многострадальная мать!

Зной нестерпимый: равнина безлесная,
Нивы, покосы да ширь поднебесная —
Солнце нещадно палит.

Бедная баба из сил выбивается,
Столб насекомых над ней колыхается,
Жалит, щечочет, жужжит!

Приподнимая косулю тяжёлую,
Баба порезала ноженьку голую —
Некогда кровь унимать!

Слышится крик у соседней полосыньки,
Баба туда — растрепалися косыньки, —
Надо ребёнка качать.

Что же ты стала над ним в отупении?
Пой ему песню о вечном терпении,
Пой, терпеливая мать!

Слёзы ли, пот ли у ней над ресницею,
Право, сказать мудрено.
В жбан этот, заткнутый грязной тряпицею,
Канут они — всё равно !

Вот она губы свои опалённые
Жадно подносит к краям...
Вкусны ли, милая, слёзы солёные
С кислым кваском пополам?..

Н. Некрасов.

Первая глава начата в конце июля, закончена 15 августа 1996 года. Вторая глава потеряна, остальные — не написаны.

Не так давно, уже после 2010 года белорусские пионеры нашли какие-то признаки Пархвена и внесли его в список погибших там, близ деревни Рабовичи, под Пропойском, который теперь называется Славгородом.

Дорогая моя Россия, ты всегда одинакова... от Лермонтова (через Некрасова) и до Борздова. Только видят всю тебя очень немногие. Ты так обширна, ты так глубока и высока, что почти все кажутся слепыми. Очень немногие видят тебя всю полностью... от бомжа (через труженика и вора) до президента. Да и тем, единицам видящим, смотреть не дают; замазывая их глаза ложью.

Но как же не любить тебя, богатая и нищая, гениальная и глупая, душевная и бездушная, прекрасная и уродливая, благородная и жестокая, чистая и грязная, живая и мёртвая, вечно слепая родная моя страна... вся-вся слепая!?. .

Или ты только кажешься такой?

30.12.2018.

ПРО РОК

С тех пор, как вечный судия
Мне дал всеведенье пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.

Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья —
В меня все ближние мои
Бросали бешено камня.

Посыпал пеплом я главу
Из городов бежал я нищий
И вот в пустыне я живу,
Как птицы, даром божьей пищи.

Завет предвечного храня,
Мне вся покорна тварь земная.
И звёзды слушают меня,
Лучами радостно играя.

Когда же через шумный град
Я пробираюсь торопливо,
То старцы детям говорят
С улыбкою самолюбивой:

«Смотрите, вот пример для вас:
Он горд был, не ужился с нами,
Глупец, хотел уверить нас,
Что бог гласит его устами.

Смотрите ж, дети, на него,
Как он угрюм, и худ, и бледен,
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его».

Михаил Лермонтов

Я не пастух чужих идей.
По всей Руси ищу людей,
Что были сыты и согреты.
Но никого.

Куда ни глянь:
Сквозь Музы прорастает дрянь,
Горят холодные портреты.

Святые дарит мне слова
В колечке солнечной оправы
Деревьев нежная листва,
Поклоны бьют цветы и травы.

Шторма полей и стёкла вод
Играют на весёлой скрипке;
Искрясь, заводят хоровод
И пташки, и зверьки, и рыбки.

Хочет неба бирюза,
Рассыпав звёздные монеты.

Но больно тычутся в глаза
И в грудь холёные портреты.

И хоть до неба дорастай
В прекрасном творческом угаре,
Ты будешь мошкой среди стай
Безмозглых человечьих тварей.

Поэта мёртвого когда
Я проношу живые кости,
Торчат портреты-господа,
Захлёбываясь от злости.

В глубокой мрачной тишине
Откапывая лживки-справки,
Цари накидывают мне
На шею тайные удавки.

И вся картина бытия
От правнуков до сгнивших дедов —
Ко мне идущие друзья
Стеной голодных людоедов...

Но просыпается толпа
И видит, что моя дорога
И есть заросшая тропа
Растерзанного ею Бога.

Иду по ней, не чуя ног,
Рифмую благодарность Богу,
И вечный воскресает Бог,
Выходит на мою дорогу.

Он молвит голосом земным
Согретым нимбом из привета:

«Иди,
Униженным,
Больным
Кати свою карету света.
Да будь собой в любом краю,
И дам тебе жильё
В раю,
Где ни расстрелов,
Ни наветов.»

И я пою.

И я плюю
На дудку праздную твою,

Пурга
Зловещая
Портретов.

13–31 августа 2018.

* * *

Светлые отдушины мои,
Не ища надёжной колеи
Начинавшие свой путь по свету
Не по шпалам, не по головам...

Я навеки благодарен вам
За лихую преданность расцвету.

Я не цыган с каменным кнутом,
Я поэт,
Но мир не знал о том
И все вы:
Мой стих душили власти.

Помните?
Не только по весне
Вас тянули весело ко мне
Ваши неосознанные страсти.

Хоть эпоха что-то проспала,
Не забыть мне тонкие тела,
Чистотой, как груди, налитые.
Вы мечтали в тесноте земной
Оказаться тут же, подо мной,
Юные
Развратные
Святые.

Объяснить я это не могу.

Перед вами я в таком долгу,
Что, узнав, и звёзды б заплясали.

Были вы так ярки,
что одним
Розовым сиянием своим
Неземную жизнь мою спасали.

День текущий тоже не в тени.

Мне дороже прожитые дни —
Дел серьёзных и смешных отряды,
Где не только на морской воде,
Отдавались всюду и везде
Ваших тел трепещущие взгляды.

Так хотелось крепко обнимать...
Но не мог я, Господи! ломать
Трепетную чистоту святую.

Вы простите, за собой маня
Бешеного чистого
Меня
За надежду
Мёртвую
Пустую.

Хоть бежал и падал со всех ног,
Но понять
И ценить
Я смог
Ваши драгоценные
Пороки...
И бросаю (эти вот) богам —
Вашим
Не дождавшимся шагам
О былом рыдающие строки.

14–20 октября 2018.

* * *

На протяжении всей жизни (с 23 лет и до смерти) не давало мне шагу ступить государство. Раумеется, через ФСБ (КГБ).

И всё-таки, это единственная организация в стране, которую я глубоко уважаю.

Это порядочные, ответственные, решительные люди, думающие самостоятельно и государственно.

Один из них Гуленков Владимир Николаевич.

Когда я с ним познакомился, он был подполковником КГБ.

Я назвал его, потому что чувствую, что его уже нет. И я не принесу ему вреда своим упоминанием.

Должно быть, он прекрасно видел, кто я, и ценил меня таким, какой я есть, вопреки глупому требованию самых ввысоких чинов.

Когда я уж совсем задыхался(не как поэт, конечно, а как обыкновенный человек), кто-то, мне кажется, предоставлял мне глоток кислорода. Такой необходимый глоток! Предоставлял, наверняка, рискуя своей судьбой.

Думаю, это был он.

Я долго чувствовал две противоположные силы за своей спиной.
А теперь осталась одна.

Положите на его могилу цветок.

24.12.2018.

О РОДИНЕ

Я не могу не любить Родину.

И не могу не презирать чиновников, которые ей управляют: ибо они, как правило, лживые и алчные, глупые и жестокие. А если и попадается умный, то выражается его ум только в удушении честного труженика. Потому в душе вечная раздвоенность. Ты не знаешь, кто ты. Ты сын, верный и преданный, (что является действительностью) или ты пасынок, ненужный и ненавидимый, как дополнительный нахлебник, как лишний рот (такие выводы напрашиваются, когда начинаешь рассматривать чиновничье отношение к тебе).

Она дорога мне любая — хромая и горбатая, криворотая и слепая, потому что она мать, которую я не имею морального права оставить один на один с её недостатками, с её увечьями.

А он, зажавшийся какой-нибудь член, считающий государственный рубль лично своим, от её имени берёт тебя за горло и душит всю жизнь как бы за то, что ты плохой сын, что ты говоришь не то. (А на самом деде он душит тебя за то, что ты не похвалил его, этого хапугу, который, например, расширил себе грудь для орден). Он, оказывается, «образец порядочности». Ему все должны петь дифирамбы. Стоя двумя ногами на богатстве страны, «образец порядочности» вычерпывает государственную казну обеими руками и высыпает ее где-нибудь далеко за пределами своей родины. И делает это с такой важностью, с такой уверенностью, как будто он для её пользы оказался там (на Красном море, на Карибах, на Канарах, на Золотых песках, в Гарвардском университете), как будто для её блага он спускает всё её богатство.

Я не могу не любить Родину, какая бы она ни была, потому и не могу смотреть без ненависти на чиновника, который её (такую богатую) загоняет в нищету, издеваясь над её преданными, голодными, трудолюбивыми сынами.

Должно быть, по этой причине 1 мая 1965 года я не мог не крикнуть пять слов:

«Будь ты проклято, Советское правительство!»

И явно по этой же причине сегодня, собрав последние силы, я бросаю в них, как топорик, тяжёлую и острую пятёрку: «Будьте прокляты, чиновники и законодатели!» Бросаю за то, что они радостно

сообщают нам: «Наши цены на бензин, на коммуналку почти не превышают европейские» и что они, как седые скалы, молчат о том, что, например, во Франции муниципалка в переводе на рубли составляет сто десять тысяч (110 000) рублей в месяц. Сравните с нашей и порадитесь вместе с ними хотя бы 4 ноября.

05, 10.01.2019.